

## СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ<sup>1</sup>

Т.А. Алексеева

**Ключевые слова:** стратегическая культура, культура, стратегия, контекст, политическая культура, историческая социология, национальный характер, идентичность, “зависимость от пути”, конструктивизм.

Концепция стратегической культуры в последнее время вошла в интеллектуальную моду — она встречается в самых разных текстах по поводу и без, интерпретируемая в зависимости от предвзятостей и представлений автора, сплошь и рядом в смыслах, далеко уводящих в сторону от первоначальной трактовки. Между тем она обладает немалым эвристическим потенциалом и может оказаться весьма полезной при анализе внешнеполитической стратегии и деятельности государств. Попробуем разобраться, о чем же все-таки идет речь.

Уже при первом приближении бросается в глаза, что понятие стратегической культуры включает в себя два элемента: культуру и стратегию. В сущности, в подобном соединении ничего особенно нового нет. Идея влияния культуры на национальную стратегию присутствовала уже во многих “классических” трудах, начиная от Фукидида и кончая Клаузевицем, усмотревшим в ведении войны экзамен для моральных и физических сил воюющих сторон. Целью стратегии, полагали мыслители, является не просто поражение противника на поле боя, а уничтожение его морали и культуры.

Несмотря на то, что о связи культуры и политики писали многие авторы разных эпох, считается, что впервые термин “культура” (*coltura*) употребил аббат Дж. Андрес в книге “Происхождение, процессы и современное состояние всей литературы”, изданной в Парме 1782 г. С этого момента начался безостановочный процесс расширения содержательного наполнения понятия. Если для автора идеи культура сводилась исключительно к письменным источникам, то спустя столетие, в 1865 г., например, для антрополога Э. Тайлора она уже предстала как “комплексное целое, включающее знания, верования, мораль, право, обычаи и многие другие способности и привычки, обретенные человеком как членом общества” [Kelley 1996: 109].

Постепенно культура начала помимо описательной выполнять также эпистемологическую функцию, позволяя выявить наиболее важные черты в познании коллективности, хотя еще долгое время крайне непоследовательно и лишь у отдельных мыслителей. И. фон Гердер и другие романтики были пионерами интереса к духу времени и национальному духу. Более поздние историки Ф.К. фон Савиньи и Л. фон Ранке в XIX столетии также уделяли особое внимание антирационалистическому национальному историцизму. Право, язык, традиции и обычаи предстают у них как выражение души немец-

АЛЕКСЕЕВА Татьяна Александровна, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Для связи с автором: ataleks@mail.ru

<sup>1</sup> Статья подготовлена по гранту РГНФ 1103-00277 — Сравнительный анализ внешнеполитических дискурсов: проблемы методологии и практического применения.



кого народа. Так, у Савиньи право и все остальные культурные явления — не что иное, как манифестация национального духа, пронизывающего все формы жизни. Фон Ранке также интересовали формирующие гипотезы или идеи, без познания которых история, как он считал, становится лишь хаосом фактов. Подобные тенденции можно было обнаружить также и в консерватизме Э.Берка и в клерикальной философии реставрации Бурбонов (Л.Г.А.Бональд, Ж.-М. де Местр и др.). Такой подход к истории стал особенно популярным еще позднее — в первой половине XX в. в США в качестве противовеса доминировавшей в то время жесткой экономической интерпретации истории. И хотя более или менее общепринятого определения культуры еще не существовало, под влиянием дискуссий сформировались две субдисциплины, играющие особенно важную роль для целей нашего дальнейшего разговора: интеллектуальная история и этнокультурные исследования.

Однако реальная возможность для специалистов по международной безопасности внести свой вклад в разработку концепции культуры появилась лишь благодаря идеям К.Гирца, опубликовавшего в 1973 г. книгу “Интерпретация культур”. Гирц определил культуру как исторически транслируемый паттерн смыслов, воплощенных в символах, системе унаследованных концепций, выраженных в символической форме средствами, используемыми людьми для коммуникации, которые увековечивают и развивают знание и отношение к жизни [см. Гирц 2004]. Под влиянием этой работы культура начала рассматриваться многими исследователями, в том числе международниками, как социально установленные структуры смысла человеческой деятельности, система символов, с помощью которых группа транслирует знание через время и пространство, или, иначе, семиотическое измерение социальных практик [Sewell 1999: 48]. Тем самым, Гирцем и его последователями был предложен интерпретативный подход к изучению культуры, предполагающий включение элементов структурализма, герменевтики, понимающей социологии, философии символических форм и т.д.

Этот подход, часто обозначаемый как методологический “поворот к культуре”, явился частью более широких тенденций развития эпистемологии, социальных и гуманитарных наук во второй половине XX в. Хотя исследования этого направления и продемонстрировали в очередной раз согласие о несогласии относительно целей, однако одновременно они символизировали разрыв с позитивизмом, господствовавшим в сфере научного познания на протяжении большей части XX столетия. Именно позитивизм отныне рассматривался как ответственный за политическое и моральное поражение США во Вьетнаме, что привело к существенному отказу от технократического мышления в международных отношениях и рассмотрения политических идей как “науки”. Об этом писали многие исследователи разных идейных ориентаций, в том числе и некоторые “политические реалисты”, включая Г.Моргентау.

Как известно, понятие “поворот” в философии науки означает качественные изменения в системах производства и репрезентации знания, сдвиг в теории и практике познания. Это, кроме того, опознавательный знак если не смены, то выдвигания новой, набирающей силу парадигмы, нового направления в исследовательской работе, иного ракурса предмета исследования. Поскольку концепций культуры сегодня много, и они составляют в известном смысле конкурентную среду, никакая интерпретация имеющихся данных



о мире, полученных социологами, экономистами, военными, учеными-естественниками и др., не может быть единственной. Обычно исследователь избирает способ интерпретации в зависимости от его способности обеспечивать приемлемые объяснения изучаемых явлений, а в особых случаях, при драматических изменениях в культурном контексте и смене культурных универсалий, — вследствие соответствия “духу времени”. “Исследователь может стремиться вернуть культуре устойчивость, дать ей новые опоры, — указывает отечественный исследователь В.Порус. — Или, что не исключено, помочь ей уйти в историю, освободив место новой культуре. В любом случае он создает мифы, которых требует изменившаяся культурная среда. Характерная особенность этих мифов в том, что они ‘облачены в научные тоги’, т.е. оформлены так, как это принято в науке, но отличаются своей очевидной ‘ангажированностью’, подчиненностью философски определяемым целям” [Порус 2011: 30].

Подобно другим “поворотам” (лингвистическому, когнитивному, историческому и др.), “культурный поворот” позволил существенно переосмыслить как методологические инструменты исследований, так и их понятийный аппарат. Он также способствовал зарождению новых областей знания, примером чего и стало появление концепции стратегической культуры в рамках развития исследований международной безопасности. Потребность в концепции такого рода давно назрела. Вот как это поясняет российский исследователь О.Иванов: “Правильное понимание значения и места такого иррационального фактора, как культура, в применении военной силы или в выработке стратегии по ее применению важно, так как пренебрежение им или акцентирование своих действий исключительно на рациональной модели может привести к сверхобобщениям и не дать возможность построить свои приоритеты. Поэтому опасно переносить особенности своей стратегической культуры на противоположную сторону и смотреть на нее через призму своей стратегической культуры” [Иванов 2007: 88]. Следует оговориться, что многие специалисты в области политических наук получили импульс и санкцию к признанию ценности культурного подхода к политическим наукам из Президентского обращения АПСА (*American Political Science Association*) А.Видадьского в 1987 г. [Widalsky 1987: 3–21]. В последующие годы было проведено множество исследований, позволивших развить его как новую и весьма амбициозную теорию политики, в том числе и внешней.

Несколько слов стоит сказать также и о концепте “стратегия”. Стратегия, как известно, предполагает прежде всего рациональную связь между целями и средствами. Или, как поясняет известный американский международник Дж.Л.Гаддис, “под ‘стратегией’ я понимаю просто процесс, с помощью которого цели связываются со средствами, намерения со способностями, задачи с ресурсами” [Gaddis 1982: VIII]. Думать или действовать стратегически значит попытаться выстроить корреляцию между целями и ресурсами, имеющимися в распоряжении лиц, принимающих решения, через формулу цены/выигрыша, когда наличных ресурсов недостаточно для прямого достижения цели и необходимо выстроить целую систему тактических шагов для увеличения потенциальных ресурсов. Первоначально обозначая по-гречески “искусство полководца”, она, подобно другим концепциям, претерпела содержательное расширение, но сохранила свой “нервный узел” недетализированного плана



достижения сложной цели в длительной перспективе. Поэтому современное представление о стратегии связано с анализом, оценкой, планированием, моделированием и обеспечением деятельности государства или корпорации. Обычно стратегия разрабатывается на длительный период времени, редко меняется и формулируется в проектах, программах, практических действиях и законодательных инициативах, сохраняющих общую стратегическую канву.

Отсюда особый тип мышления – стратегический, предполагающий концептуальное, системно-ориентированное, направляющее и использующее появляющиеся возможности мышление, которое приводит к открытию новых воображаемых организационных стратегий. Соответственно, процесс стратегического мышления предполагает четыре вида деятельности: сканирование действительности, вопрошание, концептуализацию и, наконец, тестирование. Это постоянный процесс, не требующий какого-либо зафиксированного порядка [Casey, Goldman: 167-185]. Особое значение придается стратегическому планированию. Авторы канонического учебника “Основы менеджмента” даже назвали стратегическое планирование “зонтиком, укрывающим под собой все управленческие функции” [цит. по: Медведев 2011: 9]. Одновременно оно предполагает видение множества разных уровней возможного движения к цели и отнюдь не ограничивается только ориентацией на длительную перспективу. Важно отметить, что в условиях турбулентности, неопределенности и быстрых дискретных изменений, типичных для нашего времени, значение стратегии для оценки угроз и возможностей и разработки “ответов”, допускающих дальнейшее движение, трудно переоценить.

Таким образом, два концепта – “стратегия” и “культура” – постепенно, благодаря усилиям нескольких поколений исследователей, нашли множество точек соприкосновения. В западном академическом сообществе автором самого термина “стратегическая культура” считается американский международник Дж.Снайдер, впервые употребивший это понятие в конце 1970-х годов [Snyder 1977]. Он применил свой подход к сравнению советской и американской ядерных доктрин, описав их как продукты разных организационных, исторических и политических контекстов и технических ограничений. По его мнению, элиты артикулируют уникальную стратегическую культуру, представляющую собой более широкое выражение общественного мнения, социализированного во вполне определенном типе стратегического мышления. Результатом этого процесса становится “совокупность убеждений, подходов, паттернов поведения в отношении ядерной стратегии, достигающая статуса полуавтоматизма, что превращает их скорее в ‘культуру’, нежели в политику” [ibidem].

Вслед за Снайдером и другие специалисты по стратегии обратились к культурным факторам (например, К.Бут, К.Грэй). Так, К.Грэй определял стратегическую культуру как “относящуюся к типу мышления и действий в отношении силы, которые вытекают из перцепции национального исторического опыта, исходя из необходимости ответственного поведения в национальном стиле” [Gray 1981: 35-37], а также из гражданской культуры и образа жизни. Таким образом, стратегическая культура создает повестку дня, в рамках которой обсуждается стратегия, и служит в качестве независимого детерминанта паттерна стратегической политики. Как и Снайдер, Грэй признавал полуавтоматическое влияние стратегической культуры на политику безопасности [ibidem].



Несмотря на то, что этим авторам удалось зафиксировать важные аспекты принятия стратегических решений, концепция была подвергнута жесткой критике в академическом и экспертном сообществе, обратившем внимание на трудности с ее операционализацией и излишней субъективностью оценок. Оно усмотрело в ней тавтологичность, поскольку практически невозможно достаточно обоснованно ввести различие между зависимыми и независимыми переменными; и, кроме того, обратило внимание на уникальность стратегической культуры, которая выводится из специфической историографии той или иной страны, равно как и из антропологии. Кроме того, и сторонники, и противники концепции сошлись в том, что она носит статичный характер, не учитывающий быстрые изменения в международном ландшафте. Это оказалось также препятствием для сравнительного анализа стратегических культур. В конце концов, К.Грэй признал в 1988 г., что “социальная наука не смогла разработать конкретную методологию для идентификации национальных культур и стилей”, хотя исследование культурных аспектов поведения государств имеет решающее значение для понимания поведения государства и его роли в мировой политике [Gray 1988: 42-43]. С окончанием холодной войны, хотя бы как-то стимулировавшей изыскания в этой области, стратегическая культура вообще на какое-то время оказалась в небрежении.

Понадобился качественный скачок, чтобы появилась новая интерпретация концепции “стратегическая культура”, заметно отличающаяся от представлений предшествующих поколений. В 1990-е годы на авансцену вышло третье поколение сторонников изучения культурных аспектов стратегии. Отчасти это было связано с подъемом конструктивизма, который, как известно, придает особое значение интерсубъективным структурам, включая нормы, культуру, идентичность, а также идеям в отношении поведения государств и международных отношений в целом. Как подчеркивает В.Хадсон, конструктивизм “рассматривает культуру как зарождающуюся систему разделяемых смыслов, которые управляют перцепцией, коммуникацией и действиями... Культура формирует практику как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В момент действия культура обеспечивает элементы грамматики, которые определяют ситуацию, вскрывает мотивы и запускает стратегию во имя успеха” [Culture and Foreign Policy 1997: 28-29]. Конструктивисты ставят в центр преимущественно социальные структуры на системном уровне, особое внимание уделяя роли норм в международной безопасности. Нормы определяются как “интерсубъективные убеждения относительно социального и природного мира, определяющие акторов, ситуации и возможности действий” [Wendt 1995: 73-74]. При этом слились два основных потока: по Т.Фаррелу, с одной стороны, культурная теория, взятая из сравнительной политологии, социологии и антропологии, и конструктивизм как теория международных отношений, с другой. В результате утвердилось признание влияния норм и идей на международную безопасность. Слияние культурной теории и конструктивизма позволило нам “рассматривать акторов и структуру во многом по-иному, нежели это допускали рационалистические подходы к международным отношениям... помещая акторов в социальную структуру, которая одновременно конституирует этих акторов и сама конституируется благодаря их взаимодействиям” [Farrell 2002: 49-72].



Хотя методологические основания конструктивизма во многих случаях были не так уж новы, тем не менее, они представляли собой парадигмальный “вызов” неореализму. Чего стоило хотя бы утверждение конструктивистов, что их подход очевидно через какое-то время вытеснит неореализм с позиции доминирующей парадигмы теории международных отношений. Хотя конструктивизму не удалось добиться этой цели, он, тем не менее, оказал мощное стимулирующее воздействие на подъем интереса к исследованиям влияния культуры на международные отношения.

На волне подъема интереса к культурным аспектам международных отношений некоторым авторам удалось сформировать более или менее целостное представление о стратегической культуре как самостоятельной области познания реальности. Так, например, скандинавские исследователи И. Нойман и Х. Хейкка определили ее как концепцию динамичной потенциальной игры большой стратегии, с одной стороны, и специфических практик, таких как доктрины, гражданско-военные отношения и обеспечение, с другой [Neumann, Heikka 2005: 5-23]. Это была одна из наиболее удачных попыток операционализации понятия, инспирированной “поворотом к практике”, охватившим многие социальные науки в начале нового тысячелетия. В любом случае, как подчеркивает отечественный исследователь М. И. Рыхтик, “речь идет о том, как общество говорит, думает, пишет, снимает кинофильмы, рассказывает анекдоты и т.п., о том, что сегодня составляет его представления о безопасности” [Рыхтик 2003: 203]. Иначе говоря, речь идет о дискурсе национальной безопасности.

Однако наиболее амбициозным в теоретическом смысле, на наш взгляд, все же остается исследование стратегической культуры, предпринятое в середине 1990-х годов американским исследователем А. Джонстоном. Хотя влияние идей К. Гирца на него вполне очевидно, следует отметить, что Джонстон действительно внес важный вклад в разработку содержательного и символического смысла концепции [Johnston 1995: 32-64].

Стратегическая культура, по Джонстону, представляет собой интегрированную систему символов (т.е. структур аргументации, языка, аналогий, метафор и т.д.), которые позволяют установить устойчивые и долговременные стратегические предпочтения через формулирование концепций роли и эффективности военной силы в межгосударственных политических отношениях. Джонстон уточняет, что “стратегические предпочтения”, которым служит стратегическая культура, предполагают не только военные соображения, но включают все те экономические и политические соображения, которые могут быть задействованы для достижения национальных целей. Тем самым он перебрал “мост” между культурой и политическим реализмом, с которым вроде бы прежде всего и хотел размежеваться. Свою книгу, опубликованную двумя годами позже — в 1997 г., он даже назвал “Культурный реализм”, хотя претензия на новое течение в политическом реализме, похоже, не была подхвачена научным сообществом. В этой работе Джонстон определяет стратегическую культуру как “приоритетные предпочтения большой стратегии, вытекающие из парадигмальных предположений относительно природы конфликта и противника, и коллективно разделяемых лицами, принимающими решения” [Johnston 1997].

Джонстон вступил в спор с учеными-китаистами, постоянно доказывавшими, что китайская стратегическая культура носит сугубо оборонительный



характер, по крайней мере, со времен Сунь Цзы (“Искусство войны” – VI в. до н.э.), обосновывая это наличием уникальной пацифистской стратегической культуры, проистекающей из конфуцианского пренебрежения к использованию силы. Исследование Джонстона опирается на тщательный текстуальный анализ “Семи военных классиков древнего Китая”, которые продолжают оставаться частью китайского военного дискурса и были основой стратегического мышления во времена династии Мин (1369-1644 гг.).

В “Семи военных классиках” Джонстон обнаружил свидетельства присутствия двух стратегических культур. С одной стороны, это конфуцианские предпочтения в политике, предполагающие победу над противниками через самосовершенствование и нравственность, однако они носили преимущественно символический характер, обосновывая стратегию в культурно приемлемой форме. С другой стороны, там также имелась совокупность идей, весьма близких к *Realpolitik*, практикуемой в значительной части остального мира. Неудивительно поэтому, что древние китайские мыслители пришли к выводу о том, что наилучший способ реагирования на угрозу – уничтожение ее с помощью силы. Джонстон признает, что китайские классики подчеркивали ценность силовых решений в конфликтах, связанных с безопасностью. Одновременно они также призывали к гибкости, допускающей использование ненасильственных средств, когда имеешь дело с более сильным врагом – но только временно, пока Китай не достигнет превосходства. Переговоры были инструментом для откладывания действий, пока не наступит подходящий момент. Целью же оставалось уничтожение противника. Вывод Джонстона на основании анализа 120 мемуаров, написанных разными официальными лицами эпохи династии Мин, заключается в том, что в китайской стратегической традиции не было склонности к пацифизму, а постоянно присутствовала *Realpolitik*, прикрытая конфуцианской рационализацией. Ни О. фон Бисмарк, ни Г. Киссинджер, по-видимому, не смогли бы признать эти аргументы чуждыми себе, также как не посчитали бы их уникально китайскими.

Определив стратегическую культуру как “идейное меню, ограничивающее выбор поведения”, Джонстон, тем самым, открыл весьма перспективное направление в изучении стратегической культуры. Хотя он признавал значение влияния субкультур на принятие внешнеполитических решений, для него более важным было наличие доминирующей стратегической культуры, сторонники которой заинтересованы в сохранении статус-кво.

К третьему поколению исследований могут быть также отнесены и другие работы, опубликованные в те же годы, в особенности книга Т. Бергера “Культуры антимилитаризма: национальная безопасность в Германии и Японии” [Berger 1998]. По Бергеру, культурные убеждения и ценности превращаются в специфические национальные линзы, формирующие перцепцию событий и даже направляющие возможные реакции общества на угрозы и противодействием им. С этой точки зрения, культуры обладают некоторой степенью автономии и являют собой нечто большее, нежели просто субъективную рефлексию реальности [ibid.: 9].

В понятии стратегической культуры, обращает внимание М.И. Рыхтик, есть две составляющие. Первая объединяет общие представления общества об окружающей действительности: взгляды на мир, внешнюю политику, отношение к армии, войне, союзам, другим странам, новым и старым угрозам и т.п.; вторая



носит более оперативный характер, выявляя, что именно может считаться приемлемым к использованию для нейтрализации тех угроз и вызовов, которые считаются жизненно важными или требующими обязательного вмешательства со стороны властных структур. Таким образом, стратегическая культура становится важнейшим элементом политики национальной безопасности [Рыхтик 2003: 204].

Таким образом удалось проработать основные черты партикуляристских культур и идентичностей. Исследователи также выявили значимые связи между внешними и внутренними детерминантами национальной политики безопасности. В свою очередь, изучение культуры обогатилось обращением к антропологии, истории, социологии, политической философии и т.д. В результате даже скептики вынуждены были признать, что обращение к культуре реально “имеет значение” [Культура имеет значение... 2002].

Однако с того момента, как стратегическая культура начала претендовать на значительное место в теоретико-международных рассуждениях, начался довольно жесткий спор ее сторонников с политическим реализмом, точнее, с его неореалистской (структурной) версией. Для реалистов культура и история никогда не были приоритетами. В свою очередь, у сторонников культурной теории особенное раздражение, по-видимому, вызвало утверждение неореалистов о том, что стратегическая культура — “зависимая переменная” в процессе обеспечения международной безопасности, что она, безусловно, имеет право на существование, однако определяет эффект, а не цель, поскольку обладает лишь относительным потенциалом. Например, перефразируя название известной книги Д.Грэя<sup>2</sup>, Р.Кэган пишет, что Америка “с Марса” и очень быстро реагирует на “вызовы безопасности”, в то время как Европа “с Венеры” и осторожничают со своими реакциями, предпочитая кивать другу по иную сторону Атлантики [Kagan 2003]. В сущности, вся стратегическая культура сводится у него к такого рода сопоставлениям. Таким образом, стратегическая культура может быть описана как мета-концепция, хотя и не в том смысле, как, например, в отношении концепции “власти” или “силы”. “Сила” — одна из ключевых категорий, имеющих в нашем распоряжении для теоретического осмысления международных отношений и внешней политики, тем не менее, продолжает сохраняться огромное разнообразие в отношении смысла этого понятия. Если сила — это просто совокупный потенциал, как считает большинство структурных реалистов, тогда можно сделать некоторые утверждения относительно “структуры” международной системы, в том числе и в отношении стратегической культуры [Mearsheimer 2001: 60]. Именно рассмотрение силы как совокупного потенциала позволяет выделить в ней отдельные элементы, на основе которых могут быть сформулированы другие концепции: биполярность, мультиполярность и т.д.

Спор об определении стратегической культуры отражает более общий раскол между представителями социальных наук, которые никак не могут решить, следует ли им идти вслед за Э.Дюркгеймом по пути позитивизма или за М.Вебером по дороге интерпретативизма. Возможно, эти дискуссии уже потеряли свою актуальность, поскольку сегодня многие философы науки пришли к выводу, что различие между “объяснением” и “пониманием” может быть преодолено, а речь идет скорее о “поясняющем понимании” (*explicative understanding*). По-видимому, это

<sup>2</sup> Имеется в виду популярный бестселлер: [Грэй 2009].





попытка компромисса, однако довольно искусственного. Поэтому зачастую удается обнаружить вполне конструктивистские пассажи внутри позитивистской эпистемологической программы. Некоторые авторы даже назвали такое смешение парадигм “неоклассическим реализмом” или, как у Джонстона, “культурным реализмом” [см., например, Rose 1998: 144-172].

#### СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК КОНТЕКСТ И ПАРАДИГМА

Стратегическая культура может быть рассмотрена в двух ипостасях: как контекст принятия стратегических решений и как познавательная парадигма.

Известный специалист по дискурс-анализу Т.А. Ван Дейк утверждает, что контекст может быть определен как структура систематически релевантных дискурсу свойств социальной ситуации [Van Dijk 2004]. В основе рассмотрения стратегической культуры как контекста лежат две гипотезы: 1) исследователи исходят из того, что поведение государств в предшествующие периоды оказывает сильное влияние на современные и будущие возможности и варианты их поведения на международной сцене, а это предполагает выяснение вопроса о том, как именно данные государства действовали в прошлом; 2) еще одна гипотеза опирается на представления государств и народов о самих себе, или иначе, на идентичность или национальный характер, предполагающий предрасположенность к определенному типу политики.

Можно сказать иначе: исследование дискурса стратегической культуры осуществляется благодаря интегрированному социальному подходу, предполагает включение ее структуры в широкий социальный и культурно-исторический контекст. Коллективная память, указывает С.Крейн, поддерживает живой опыт индивидов внутри групп, так как индивидуальное переживание нельзя вспомнить без отсылки к социальному контексту; и “каждое самовыражение исторического сознания является выражением коллективной памяти не потому, что оно совершенно точно разделяется всеми другими членами коллектива, но потому что именно этот коллектив делает его артикуляцию возможной, потому что историческое сознание само стало элементом исторической памяти” [цит. по: *Образы времени и исторические представления... 2010: 15*].

Неудивительно поэтому, что аналитики, использующие понятие стратегической культуры как инструмент оценки поведения государств на международной сцене, часто обращаются к исторической социологии, прежде всего, для определения идентичности. Можно согласиться с утверждением известного кембриджского профессора Дж.Данна: “...Политическое мышление по своей природе исторично, оно возникло в определенном времени и пространстве и его нельзя понять, если не учитывать обстоятельств того, как оно возникло и развивалось. Размышлять о нем как об абстрактном процессе, как о манипулировании набором понятий – значит не понимать того, что представляет собой политическое мышление” [Данн б.г.]. Однако здесь возникают некоторые проблемы. Следует иметь в виду, что обычно мы имеем дело с мифологизированными общностями, якобы отражающими непрерывность каждого типа развития. Поэтому, говоря словами французского философа М.Фуко, мы используем структуры (такие как литература, политика, философия, наука, по существу сформировавшиеся лишь к XIX в.) как “ретроспективную гипотезу, допущение игры формальных аналогий или семанти-



ческого подобия” [Фуко 1996: 24]. Или, если выразиться более афористично: “Еще не существующее вторгается в пределы уже несуществующего и видоизменяет его” [Савельева, Полетаев 1997: 308].

Некоторые исследователи, однако, продолжают работать и с более традиционными концепциями, которые можно объединить под рубрикой “национальный характер”. Хотя оба подхода датируются первой половиной XX столетия, разница заключается в том, что историческая социология обрела широкое научное признание, в то время как исследования национального характера так и остались крайне спорными.

В самом деле, исследователи национального характера довольно редко идентифицировали объект своего интеллектуального любопытства под этим названием. Причина заключается в том, что национальный характер в прошлом воспринимался как имеющий непосредственную связь с евгеникой и расизмом. Систематическое научное изучение культур и конфликтов фактически началось в период Второй мировой войны и стимулировалось различными фондами: правительство США стремилось приобрести представление в отношении национальных характеров германского и японского противников. В результате произошло нечто аналогичное отождествлению актера с исполняемой им ролью. Отсюда — негативная коннотация термина и его в целом дурная репутация в академическом сообществе. Поэтому его даже часто избегают упоминать, хотя подобно большинству других политических концепций он многозначен, неточен и противоречив. Как бы там ни было, изучение национального характера в 1940-50-е годы представляло собой первые попытки установления связи между культурой и поведением государств, преимущественно через антропологические модели<sup>3</sup>. В ранних работах этого направления были выявлены корни национального характера, то, как именно они проявляются в культуре, языке, религии, обычаях, процессах социализации и интерпретации общих воспоминаний. Очевидно лишь, что в дискуссии о национальном характере исключительно важную роль играет этничность. Большое значение также имеет такая социально-психологическая переменная, как “модальная личность” (статистически подтвержденные характеристики типов личности, часто появляющихся среди членов конкретного общества).

Однако как только исследователи перешли от национального характера к национальной идентичности, удалось восстановить научную респектабельность подхода и, более того, концепция быстро вошла в новейшую интеллектуальную моду. По существу, вопреки требованиям “бритвы Оккама” (“не следует умножать сущности без необходимости”), произошла замена одной “сущностно оспариваемой концепции” на другую<sup>4</sup>. Нечто аналогичное име-

<sup>3</sup> Можно назвать две наиболее знаковые работы по национальному характеру того периода: [Benedict 1946; Goger 1948]. Этой темой интересовались также М.Мид и К.Леви-Стросс.

<sup>4</sup> Понятие “сущностно оспариваемых концепций” было введено еще в 1956 г. шотландским политическим теоретиком У.Гэлли, который предложил этот термин для облегчения понимания и применения некоторых абстрактных, качественных и оценочных положений — от “искусства” до “социальной справедливости”, с которыми исследователи постоянно встречаются в сфере эстетики, политической философии, философии истории и философии религии [см. Gallie 1964: 157-191]. “Сущностно оспариваемые концепции” предполагают наличие согласия в отношении общего смысла сложносоставных абстрактных категорий при несогласии в том, какая именно интерпретация является наилучшей, т.е. своего рода согласие о несогласии, или предполагаемая принципиальная открытость для конкуренции теоретических точек зрения.



ло место и с понятием глобализации, которое пришло на смену универсализации как категории, которая с точки зрения западных исследователей имела сильный марксистский привкус. Но это была не просто замена. Подобно “глобализации”, “идентичность” приобрела ряд дополнительных характеристик, которых не было у первоначальных концепций.

“Национальная идентичность, — пишет М.Гиберно, — это коллективное чувство, в основе которого лежит вера в принадлежность к одной и той же нации и согласие в отношении большинства атрибутов, которые делают ее отличающейся от других наций” [Guibernau 2007: 11]. Идентичность имеет психологическое, культурное, историческое, территориальное и политическое измерения. Уточним, что психологическое измерение относится к сознанию, формирующему группу, основывающемуся на близости, объединяющей тех людей, которые принадлежат к данной нации. Культурное измерение определяется как ценности, убеждения, язык и практика конкретной нации. Историческое измерение обращено к тому факту, что нация гордится своими древними корнями и интерпретирует их как признак устойчивости, силы и даже превосходства. Относительно исторического измерения можно привести цитату из фундаментального труда отечественных историков: “Функции исторического знания на протяжении, как минимум, последних трех веков модифицировались и усложнялись, но все же можно за всем многообразием задач истории увидеть один инвариант — это обеспечение идентичности. Смена моделей историописания была, как правило, связана с кризисами идентичности” [Образы времени и исторические представления... 2010: 25-26]. Территориальное измерение подвергается все большим “вызовам” со стороны глобализации, но продолжает сохраняться вокруг семьи, работы и административных структур. Наконец, политическое измерение национальной идентичности проистекает из ее отношения к современному национальному государству, устремленному к лингвистической и культурной гомогенизации все более разнообразного в этническом и культурном отношении населения. Идентичность выходит за рамки национальной и сегодня уже многие авторы пишут о региональной (например, европейской), космополитической или даже глобальной идентичности.

Самоидентификация предполагает не только изначальную заданность, но и сознательный выбор человека или группы людей. Соответственно, процесс идентификации не всегда приводит к достижению истинной идентичности. Культура в целом раскрывается во всей полноте “в глазах *другой* культуры” (М.М.Бахтин), или, иначе, на основе оппозиции “свой/чужой”, определяющей этническую, конфессиональную, социально-классовую принадлежность человека или социальной группы. При этом мифологическая составляющая играет в данном процессе особенно значимую роль. Коллективно выраженная особость, отличие от “других”, разделяющая “своих” и “чужих”, зачастую представлена в национальных идеологиях — тем самым мы выделяем еще один параметр для исследования стратегической культуры.

Кроме того, в ландшафте контекста заметное место занимают “нормы” как “коллективные ожидания поведения акторов в соответствии с предполагаемой идентичностью” [The Culture of National Security 1996]. Отсюда необходимость выделить постоянные факторы, влияющие на формирование и видоизменение этих норм.



Большинство современных исследователей, осознающих, что обращение к предыстории придает дополнительную энергию их умозаключениям, в качестве ключа к контексту все же предпочитают понятие идентичности. В ситуации “постбиполярности” культурные переменные в значительно большей степени начали приниматься во внимание в процессе принятия внешнеполитических решений. Неудивительно поэтому, что идентичность как организующая концепция заняла центральное положение в конструктивистских прогнозах развития международных отношений, в какой-то степени близкое к тому положению, которое занимала в реализме категория “силы”. Соответственно, именно через идентичность конструктивисты и многие реалисты начали пытаться раскрыть сущность национального интереса [Норт 1998: 171–200]. Ибо, как известно из психологии, интерес есть проекция устойчивых индивидуально-личностных особенностей лица, принимающего решения. Хотя некоторые авторы поспешили обвинить эту категорию в расплывчатости и противоречивости, вспомним, что аналогичная противоречивость “силы” никогда не мешала структурным реалистам. Необходимо сделать и еще одну немаловажную оговорку: интерес к культурным аспектам принятия внешнеполитических решений и конфликтов существовал всегда. Не все реалисты вообще игнорировали культурные факторы, также как отнюдь не все конструктивисты сегодня стоят на антипозитивистских позициях. Ситуация существенно сложнее, и мы можем говорить скорее о доминирующих паттернах внутри соответствующих теорий международных отношений.

Еще один важный феномен в процессе изучения стратегической культуры как контекста — теория так называемой *зависимости от пути* (*path dependency*<sup>5</sup>). В 1985 г. П. Дэвид и Б. Артур опубликовали небольшую статью по вопросу о стандарте клавиатур печатающих устройств, когда почти случайный выбор приводит к постоянному воспроизводству не лучшего, а привычного (*QWERTY*-эффект). Тогда вряд ли можно было предположить, что это будет началом теории, которую отечественные экономисты Р. Нуреев и Ю. Латов назовут “новейшей экономической историей” [Нуреев, Латов 2007: 228]. Речь идет об институциональной инерции, которая мешает выбирать, конструировать и экспортировать институты. Именно в этом — причина неэффективных, но устойчиво сохраняющихся стандартов. Смысл этой теории заключается в том, что “возможности выбора, который делается ‘здесь и сейчас’, жестко детерминированы выбором, сделанным ‘где-то и когда-то раньше’” [Латов 2005: 36]. Если интеллектуальные предшественники теории (например, Д. Норт) исследовали, “как становятся возможными институциональные инновации”, то сторонники “зависимости от пути”, наоборот, поставили вопрос о том, “почему институциональные инновации далеко не всегда возможны” [там же: 37].

Со временем теория “зависимости от пути” становилась также все более интересным направлением для исследователей стратегической культуры. Это было связано с тем, что их в целом антиструктуралистская эпистемология предполагала обращение к культурному происхождению и характеру выбора, который делает то или иное государство в силу имеющихся культурных пере-

<sup>5</sup> В отечественной литературе название теории часто звучит “зависимость от предшествующего развития”, что не вполне точно, поскольку утрачивается идея не просто прошлого вообще, а сделанного когда-то сознательного выбора, предопределившего дальнейшее развитие.



менных. Это позволило более точно акцентировать влияние на формировании внешней политики и политики безопасности. Иначе говоря, выбор, сделанный в прошлом, продолжает ограничивать возможности государства в будущем. В теории “зависимости от пути”, с точки зрения формирования стратегической культуры как контекста, наибольшее значение имеют два параметра: во-первых, временная обусловленность; и, во-вторых, вероятность или случайность того или иного события. Дело в том, что теория не предполагает зависимости от исходных условий, скорее она фиксирует точки разрыва, существенно изменяющие формируемое будущее. Это и есть “случаи”, запускающие новые инерционные механизмы, означающие либо сотрудничество, либо воспроизводство конфликта и несогласия [Mahoney 2000: 507-548]. Тем самым стратегическая культура фактически неотделима от истории страны, другое дело, что она существенно отличается от традиционного обращения к хронике как к череде последовательных событий, связанных причинно-следственными отношениями.

Рассмотрим теперь, что представляет собой стратегическая культура как способ познания мира. Между стратегической культурой как контекстом и как познанием много общего. Тем не менее, имеется как минимум одно различие, которое следует упомянуть, и оно обращено к “ядру” исследовательской практики. Если главная проблема с рассмотрением стратегической культуры как контекста — это размытость, нестрогость используемых концепций, то представление о ней как о познании, наоборот, обеспечивается существенно большей ясностью дефиниций. Речь идет о зависимых и независимых переменных. При рассмотрении этой проблемы нам может помочь традиция, возникшая в политической науке, а именно в исследовании политической культуры.

Следует признать, что подобно стратегической культуре, политическая культура также представляет собой совокупность разнообразных дефиниций. Один из критиков даже писал, что существует столько же смыслов политической культуры, сколько политологов, проявивших к ней интерес [Reisinger 1995: 328-352]. Тем не менее, в отличие от стратегической, политическую культуру удалось в значительно большей степени операционализировать.

Появление этой концепции в политической науке произошло в результате того же самого междисциплинарного процесса, который привнес культуру в сферу интересов специалистов по стратегии. Первоначальный импульс этому процессу также придали антропологи. Наконец, в середине 1950-х годов, т.е. примерно за два десятилетия до появления стратегической культуры, политическая культура обрела свое содержательное наполнение благодаря Г.Алмонду и С.Вербе. Они определили политическую культуру как совокупность “верований и ценностей общества, связанных с политической системой” [Almond, Verba 1965: 11-14]. Политическая культура означает приверженность ценностям демократических принципов и институтов, идеям морали и применения силы, правам человека и коллектива, а также склонность к представлениям о роли страны в мировой политике. Она формируется благодаря “интерпретативным кодам”, включающим язык, ценности и убеждения.

Политическая культура проявляется на трех уровнях: 1) когнитивном (познавательном), включающем эмпирические и причинно-следственные убеждения; 2) оценочном, охватывающем ценности, нормы и моральные суждения; и, наконец, 3) экспрессивном, или аффективном, касающемся эмо-



циональных привязанностей, паттернов идентичности и лояльности, таких как родственность, или наоборот, антипатия или безразличие. Практически с самого начала возникли трудности с определением дефиниции “политической культуры”. Развернулась дискуссия по поводу того, должна ли она означать “обобщенную личность” народа или историю коллективности, или вообще представляет собой нечто иное. Поскольку с решением этого вопроса на том этапе так и не удалось справиться, к концу 1960-х годов интерес к политической культуре был во многом утрачен.

Хотя эмпирические социологические модели политической культуры в эти годы становились все более сложными, теоретическими аспектами проблемы по большей части пренебрегали. Критики концепции называли ее эпифеноменом, обвиняли подход с позиции политической культуры в весьма субъективной оценке реальности и в преувеличении значения ее эвристического потенциала. Как следствие, интерпретативные аргументы культурного характера вышли из моды, особенно на фоне бихевиоральной революции в социальных науках. Хотя концепция сохранилась в исследованиях международных-регионалистов, интерес к ней в целом стал маргинальным. Тем не менее, вопрос о том, как выявить политические различия между странами, продолжал оставаться актуальным. Интересно, что именно в этот период появился новый элемент в дискуссиях политологов вокруг проблемы включения “культуры” в международно-политические исследования, предопределивший будущее возрождение интереса к концепции. Этим элементом стал *символизм*.

Символизм помог реконцептуализации политической культуры двояким образом. С одной стороны, символизм позволил разрешить проблему “уровня анализа”, которая была поставлена еще в ранних работах Алмонда. Хотя изучение эмпирических данных в отношении политической культуры обладало ценностью для представлений о перцепции и психологическом состоянии индивидов, оно не могло дать “полезное знание” относительно когнитивных паттернов коллектива. Индивиды, разумеется, обладают личностными качествами, но только в отношении коллективов можно сказать, что они владеют культурой. Трудность заключалась в том, каким образом перейти от индивидуального к коллективному уровню анализа. Именно эту проблему и удалось разрешить с помощью символов.

С другой стороны, символизм позволил теоретикам изучать социальные идеи индивидов и, как выразился известный специалист в этой области Л.Диттмер, “транслировать смыслы от одной личности к другой, несмотря на огромные расстояния во времени и пространстве”. По его мнению, инструменты такой трансляции включают, но не сводятся к воображаемому и метафорам, будучи идентичными тому, что поэт Т.Элиот называл “объективными коррелативами”, а именно механизмами для эффективного выражения чувств. С этой точки зрения, символы становятся “хранилищем широко распространенных интересов и чувств”. И, по Диттмеру, задача тех, кто будет использовать политическую культуру, может быть ничем иным, как систематическим научным анализом *ключевых* символов общества [Dittmer 1997: 552-583].

Возрождение интереса к политической культуре связано, прежде всего, с изменениями в международной системе, вызванными окончанием холодной войны, несмотря на то, что она противоречила идеям сторонников рацио-



нального выбора и теории игр, претерпевших новый взлет в 1980-е и 1990-е годы. Политическая культура получила признание в “пакете” через междисциплинарные исследования, увязывающие культуру с политикой. Так, Э.Свидлер предложила довольно сложную модель связи между культурой и поведением государств на международной сцене через культурную “стратегию действий”. Она дала довольно широкое определение культуры как состоящей из “символических смыслов, включая верования, ритуальные практики, формы искусства, церемонии, а также неформальные культурные практики, такие как язык, слухи, истории и повседневные житейские ритуалы” [Swidler 1986: 273]. Опираясь на аргументы Алмонда, Вербы и Парсонса, она доказывала, что стратегии, диктуемые интересами, — важные предпосылки государственного поведения.

\* \* \*

Даже если в силу каких-то причин стратегическая культура не может быть использована как независимая переменная, она обуславливает наше представление о стратегии, подобно тому, как политическая культура обуславливает политический выбор. Тем не менее, из сказанного выше становится очевидным, что стратегическая культура как познание представляет собой актуальную исследовательскую программу.

Многие теоретики стратегической культуры признают потребность в уточнении онтологии концепции, что, весьма возможно, позволит, в конце концов, создать теорию среднего уровня, предполагающую возможность узаконивания выводов анализа через фальсификацию, а это, как известно, важная черта всякого научного исследования. Сегодня, однако, многие аспекты стратегической культуры все еще нуждаются в уточнении, развитии и дальнейшей разработке. В последнее время исследователи обратились к специфике решений в сфере стратегической политики. Это открывает новый потенциал дальнейшей разработки концепции стратегической культуры.

Так, хотя определение Дж.Снайдера и задало тон изучению стратегической культуры на несколько десятилетий вперед, сегодня теоретики считают, что границы между предпочтениями, ценностями, с одной стороны, и поведением государств — с другой, продолжают оставаться крайне размытыми. Трудно также избавиться от линейности в подходе к стратегической культуре как независимой переменной, что во многих случаях приводит к тавтологиям. Конструктивизм, разумеется, придал новый импульс исследованиям стратегической культуры, однако так и не помог прийти к ее единому определению.

В последнее время исследователи обратились к специфике решений в сфере стратегической политики. Это открывает новый потенциал дальнейшей разработки концепции стратегической культуры.

Немалый интерес исследователей также вызывает вопрос о том, каким образом поддерживается конкретная стратегическая культура, и кто именно является ее носителями. Спор о носителях (коллективные общности или отдельные индивиды), имеет глубокие корни в исследовании ценностей как таковых. Ряд философов считает, что ценности имеют особый статус, связанный с ответственным личным выбором субъекта (Ф.Ницше, А.Камю, Ж.-П.Сартр и др.). С точки зрения других, ценность — наиндивидуальная реальность (Т.Парсонс, В.Франкл, М.Шелер, Э.Гартон, Э.Фромм, С.Московичи, Ф.Джемсон и др.).



В теоретико-международных исследованиях мы предпочитаем говорить об определенном соотношении между ними. Иными словами, стратегическая культура понимается как социально сконструированная нормативная система, опирающаяся как на социальные, так и на психологические основания, которая, однако, не сводится ни к тому, ни к другому.

В интерпретации истории и определении внешней политики принимают участие разные институты и политические лидеры. Это предполагает формирование коалиций и достижение консенсуса, в котором принимают участие конкретные политические акторы, что, говоря словами Т.Бергера, предполагает “наличие отношений взаимозависимости” [Berger 1998: 11-12]. Понятно, что при этом наиболее важную роль играют элиты. Однако в научной литературе преобладает мнение, что элиты обладают склонностью к поддержанию статус-кво. Тот же Бергер придерживается мнения, что стратегическая культура является продуктом “переговорной реальности” в среде элиты. Если лидеры, как правило, отдают дань уважения глубоко укорененным убеждениям, ассоциируемым со стратегической культурой, история развития внешней политики может быть лучше всего понята как стремление к легитимации предпочтительного курса политики, которая может соответствовать (или не вполне) традиционным культурным границам. У элит обычно больше гибкости, чем это допускают ученые-элитологи. Они сплошь и рядом сами устанавливают баланс между известным и неизвестным, тем самым перестраивая границы возможного.

Однако, как представляется, ограничиваться только отношениями внутри элит вряд ли правильно, особенно в демократических обществах. Политические институты, включая политические партии, также играют важную роль в определении внешнеполитического поведения. Наконец, не следует недооценивать также влияние военной и дипломатической бюрократии, и, разумеется, СМИ.

Большинство исследований стратегической культуры предполагает преемственность в поведении государств. Уроки прошлого, по их мнению, служат фильтрами для любого нового исследования проблемы. Тем не менее, в последние годы все чаще начали появляться работы, в которых допускается возможность изменения уже самой стратегической культуры с течением времени. Это заслуга, главным образом, исследователей дискурсов во внешней политике.

При каких условиях происходит изменение стратегической культуры? По мнению Дж.Лантиса, два основных условия могут быть ответственны за “стратегические культурные дилеммы”: во-первых, внешний шок может существенно поколебать имеющиеся убеждения и подорвать веру в исторические традиции (например, драматические события с травмирующими последствиями, такие как революции, войны, глубокие экономические кризисы и т.д., т.е. события, вызывающие глубокий психологический стресс, запускающие процесс ресоциализации, предполагающие поиски компромиссов между разными группами, формирующими новые политико-культурные ориентации); во-вторых, это может произойти, когда приоритетные положения в стратегической мысли приходят друг с другом в прямой конфликт (например, когда страна, последовательно поддерживающая демократию и стремящаяся к минимизации военного вмешательства, сталкивается с таким “вызовом” демократии, который требует быстрого и крупномасштабного военно-





го “ответа”) [Lantis 2005]. Таким образом, стратегические культурные дилеммы определяют новые направления для внешней политики.

Конструктивизм, таким образом, способствовал возрождению интереса к идейным основаниям политики национальной безопасности. Однако, как было показано выше, еще остается множество лакун в исследовательской программе. В осмыслении нуждается, например, создание теоретически прогрессивных моделей на основе концепции стратегической культуры, выход за пределы линейности в ее становлении, вопрос об ее универсальности, а также уточнение связей между внешними и внутренними факторами политики безопасности.

Теперь уже не вызывает сомнений, что культура неизбежно оказывает мощное воздействие на стратегию, либо организуя компетенции лиц, принимающих решения, либо формируя их представления о реальности. Соответственно, стратегическое лидерство также означает модель поведения, наилучшим образом служащую поставленным целям и, как представляется очевидным, предполагает наличие культуры поведения, которая, помимо других организационных факторов, апеллируя к национальным целям и ценностям, может либо расширять, либо ограничивать его потенциал. Оно даже в состоянии исказить восприятие реальности до такой степени, что уничтожит саму идею стратегии. Но лидеры не просто отражают культуру. Они обладают потенциалом изменения убеждений, верований, ценностей довольно широкого круга людей. Причем наиболее важно то, каким образом и как именно стратегия воплощается в жизнь, люди взаимодействуют друг с другом по ее поводу, иначе говоря, следует принимать во внимание природу человека. И если методы преобразования организационной структуры вполне понятны и хорошо известны из теории управления, то привнесение изменений в саму природу человека — задача иного масштаба и длительности, предполагающая сочетание адаптации с медленными поэтапными изменениями в желательном направлении.

Гирц К. 2004. *Интерпретация культур*. М.: РОССПЭН.

Грэй Д. 2009. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. М.: София.

Данн Дж. Политическая философия — будущее человечества. — *Русский журнал*. Доступ: <http://www.russ.ru/lay>

Иванов О. 2007. Американская стратегическая культура. — *Обозреватель*, № 1.

*Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу?* 2002. Под ред. С.Хантингтона и Л.Гаррисона. Антология. М.: Московская школа политических исследований.

Латов Ю.В. 2005. Теория зависимости от предшествующего развития в контексте институциональной экономической истории. — *Экономический вестник Ростовского государственного университета*, т. 3, № 3.

Медведев Д. 2011. *Эффективный Черчилль. Методы, которые использовал самый известный премьер в мировой истории*. М.: Рипол-классик.

Нуреев Р., Латов Ю. 2007. Что такое зависимость от предшествующего развития и как ее изучают российские экономисты. — *Истоки: из опыта изучения экономики как структуры и как процесса*. М: НИУ ГУ-ВШЭ.

*Образы времени и исторические представления. Россия. Восток. Запад*. 2010. Под ред. Л.П. Репиной. М: Круг.

Порус В.Н. 2011. Имитация рациональности: симулякры бюрократии. — *Политическая концептология*, № 2.

Рыхтик М.И. 2003. Стратегическая культура и новая концепция национальной безопасности США. — *Вестник Нижегородского Государственного университета*, вып. 1.

- Савельева И.М., Полетаев А.В. 1997. *История и время. В поисках утраченного*. М.: Языки русской культуры.
- Фуко М. 1996. *Археология знания*. Киев: Ника-центр.
- Almond G., Verba S. 1965. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Boston: Little, Brown.
- Benedict R. 1946. *The Chrysanthemum and the Sword*. Boston: Houghton, Mifflin.
- Berger T. 1998. *Cultures of Antimilitarism: National Security in Germany and Japan*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Casey A., Goldman E. 2010. Enhancing the Ability to Think Strategically: A Learning Model. — *Management Learning*, № 41.
- Culture and Foreign Policy*. 1997. Ed. by Valerie Hudson. Boulder: Lynn Rienner Publishers.
- Farrell T. 2002. Constructivist Security Studies: Portrait of Research Program. — *International Studies Review*, vol. 4, № 1.
- Dittmer L. 1977. Political Culture and Political Symbolism. — *World Politics*, № 29.
- Gaddis J.L. 1982. *Strategies of Containment: A Critical Appraisal of Postwar American National Security Policy*. Oxford: Oxford University Press.
- Gallie W.B. 1964. Essentially Contested Concepts. — Gallie W.B. *Philosophy and the Historical Understanding*. L.: Chatto and Windus.
- Gorer G. 1948. *The American People*. NY: W.W. Norton.
- Gray C. 1981. National Style in Strategy: The American Example. — *International Security*, Fall, vol. 6, № 2.
- Gray C. 1988. *The Geopolitics of Superpower*. Lexington: University Press of Kentucky.
- Guibernau M. 2007. *The Identity of Nations*. Cambridge: Polity Press.
- Hopf T. 1998. The Promise of Constructivism in International Relations Theory. — *International Security*, Summer, № 23.
- Johnston A. 1995. Thinking About Strategic Culture. — *International Security*, № 19.
- Johnston A.I. 1997. *Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History*. Princeton: Princeton University Press.
- Kagan R. 2003. *Of Paradise and Power: America and the New World Order*. NY: Alfred Knopf.
- Kelley D. 1996. The Old Cultural History. — *History of the Human Sciences*.
- Lantis J.S. 2005. Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism. — *Strategic Insights*, vol. 1, № 10.
- Mahoney J. 2000. Path Dependence in Historical Sociology. — *Theory and Society*, № 29.
- Mearsheimer J. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*. NY: W.W. Norton.
- Neumann I., Heikka H. 2005. Grand Strategy, Strategic Culture, Practice. The Social Roots of Nordic Defence. — *Cooperation and Conflict*, vol. 40, № 1.
- Reisinger W. 1995. The Renaissance of a Rubric: Political Culture as Concept and Theory. — *International Journal of Public Opinion Research*, Winter, № 7.
- Rose G. 1998. Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. — *World Politics*, № 51.
- Sewell W. 1999. The Concept(s) of Culture. — *Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture*. Berkeley: University of California Press.
- Snyder J. 1977. *The Soviet Strategic Culture: Implications for Nuclear Options*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Swidler A. 1986. Culture in Action: Symbols and Strategies. — *American Sociological Review*, vol. 51, № 2.
- The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. 1996. NY: Columbia University Press.
- Van Dijk T.A. 2004. Text and Context of Parliamentary Debates. — *Cross-Cultural Perspectives on Parliamentary Discourse*. Amsterdam: Benjamins.
- Wendt A. 1995. Constructing International Politics. — *International Security*, vol. 20, № 1.
- Widalsky A. 1987. Choosing Preferences by Constructing Institutions: A Cultural Theory of Preference Formation. — *American Political Science Review*, vol. 81.